Осторожно, двери закрываются

Автор:
Мария Метлицкая

Осторожно, двери закрываются

Мария Метлицкая

Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой

Нам всегда кажется, что жизнь бесконечна и мы всё успеем. В том числе сказать близким, как они нам дороги, и раздать долги – не денежные, моральные.

Евгений Свиридов жил так, будто настоящая жизнь ждет его впереди, а сейчас – разминка, тренировка перед важным стартом. Неудачливый художник, он был уверен, что эмиграция – выход. Что на Западе его живопись непременно оценят. Но оказалось, что это не так.

И вот он после долгой разлуки приехал в Москву, где живут его дочь и бывшая жена. Он полон решимости сделать их жизнь лучше. Но оказалось, что любые двери рано или поздно закрываются.

Нужно ли стараться впрыгнуть в тронувшийся вагон?

Мария Метлицкая

Осторожно, двери закрываются

© Метлицкая М., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Осторожно, двери закрываются

Идиотское место. Суетливое, шумное, суматошное. Впрочем, сам выбрал, и нечего ворчать. Выбрал по памяти, станция метро «Парк культуры». Когда-то давно они встречались здесь шумной компанией – и айда в парк. Ну а там все тридцать три удовольствия: мороженое, газировка, каток, аттракционы. А если везло, то и чешское пиво. Впрочем, везло нечасто.

Правда, в парке было навалом шпаны. Задирали их нередко, но дрались тогда по-честному, до первой кровянки, без всякого беспредела. А здесь, у метро, в те давние годы вообще было тихо и благостно. А сейчас? Мама дорогая! Кошмар. Толпы людей сновали, едва не снося друг друга, текли бесконечные, бурлящие людские потоки. Сумасшедший город, нет, правда! Конечно, он слышал, что многое изменилось. Но чтобы так? Та, прежняя, его Москва осталась в далеких, сладких и мучительных воспоминаниях и казалась сейчас сказочно просторной и спокойной: полупустые улицы, площади, мосты, зеленые скверы. Все исчезло, как не было. Исчезла знаменитая купеческая московская умиротворенность, ее размеренность, благостность. Все исчезло. Другие улицы, другие здания, другой народ. Другой город.

«Нет больше моего города, – подумал Свиридов. – Да и меня в этом городе нет. Тогда, в те годы, я растворялся в нем, погружался в него безо всякой опаски, сладко предчувствуя радость встречи. И блаженно плыл в его запахах, в легком тополином пуху. Тогда я здесь был хозяином, смелым и щедрым. А сейчас я гость, а гости всегда робеют. Гость издалека, и, кажется, гость незваный. Растерянный гость, ошарашенный и пугливый».

Он закурил и стал пристально вглядываться в толпу. «Не узна?ю, – стучала в висок тревога. – Не узна?ю, и будет позор. Что такое фотографии? И потом, женщины способны кардинально меняться». Потом принялся себя успокаивать: «Не узнаю я, узнает она, а я прикинусь слепошарым старикашкой. Уж я-то не изменился за последние пару лет нашей переписки. По крайней мере, так хочется думать».

Господи боже, помоги! Женщины, молодые и не очень, торопливо проскакивали мимо, обтекая и задевая его. Красавицы! Нет, честное слово, красавицы – таких раньше не было. Какое-то новое племя, новое и незнакомое! Впрочем, это не новость – лучше и краше наших баб точно нет. Краше, ухоженнее и моднее. В любой точке мира он моментально узнавал бывших соотечественниц: всегда при марафете, непременно на каблуках – при чем тут комфорт, красота важнее, – одетых по самой последней миланской моде, увешанных бриллиантами. Но всегда их выдавали глаза. Вот удивительно – глаза оставались тревожными, беспокойными, будто эти немыслимые красотки ждали подвоха. И еще одно – было такое ощущение, что они боятся выглядеть самозванками, случайно попавшими в райский мир. Да так и было: все они действительно немножко самозванки, не всегда с хорошими манерами, зато с напористостью и наглостью нуворишей, с неким презрением к местным жителям, к их традициям и привычкам. Они словно чувствовали, что их слегка опасаются, но при этом поглядывают на них с интересом, с которым разглядывают редких и незнакомых животных. Нет, никакого проявления неуважения не было – их прекрасно обслуживали в лучших ресторанах и бутиках, с трудом скрывали удивление, когда чеки превышали все разумные пределы. И все-таки был какой-то душок, был. Как будто вся вежливая обслуга знала происхождение этих шальных, безумных денег. Красоток не уважали, и они это чувствовали.

Конечно, были и другие. Те, кто накопил, не без труда насобирал на заграничные поездки. Испуганные, зашуганные, растерянные и потерянные, те тоже боялись: заблудиться, отстать от туристического автобуса, не купить дешево и красиво, не охватить все достопримечательности, не успеть нафотографировать, не привезти подарки родне. Боялись, что глава семьи, муж и отец, переберет на ужине, сцепится с земляком или не отпустит за сувенирами. Они подсчитывали копейки, экономили на еде, старались наесться на завтраках и украдкой, оглядываясь, прихватывали со шведского стола парочку бутербродов в салфетке на перекус. Они не расслаблялись даже на отдыхе, но все равно были отчаянно прекрасны.

«Цветник, – подумал Свиридов. – Москва – это просто Эльдорадо для любителей женского пола». Он усмехнулся и оглянулся в поисках урны. Асфальт был густо усыпан окурками. Меланхоличный таджик (или киргиз?) сгребал их метлой.

Все изменилось. У метро полно киосков с цветами, поражающими воображение. Такую роскошь он не видел нигде, даже, пожалуй, в Европе. Впрочем, есть и местные специалитеты – кошмарные синие розы и гвоздики, присыпанные

серебристой пылью. Такого точно нет нигде. Эти ужасы годятся только на кладбищенский карнавал, бррр. Рядом палатки с жаровнями, на которых зазывно шкворчат румяные, загорелые сосиски. Из кофейни пахнет ванилью и кофе. И рядом развалы с диковинными заморскими фруктами. Чудеса, да и только!

Свиридов вспомнил, как здесь, у входа в метро, в те достопамятные времена по углам робко жались, пугливо оглядываясь, опасаясь строгих стражей порядка, бабульки с ромашками и астрами, с гранеными стаканчиками семечек. Заметив серую милицейскую форму, они тут же бросались врассыпную. Да, букетик за пятьдесят копеек: «Бери, сынок, что робеешь? Утром срезала, из своего сада».

Вспомнил и передвижной лоток с пирожками, огромными, помятыми, блестящими от масла, с капустой и повидлом, по десять копеек и пять. Пирожки называли «здравствуй, гастрит». Но как было вкусно! Впрочем, в молодости все вкусно и все почти безопасно. И они, бесшабашные и безбашенные, нахальные и бесстрашные, хомячили эти пирожки в три горла и были счастливы. Кто тогда думал о здоровье! К чему думать о том, что есть? Того, что есть, просто не замечаешь.

А красные автоматы с газировкой, стреляющей в нос острыми и колючими пузырьками? По копейке – простая, несладкая, и по три – с сиропом, грушевым, яблочным и любимым крем-сода.

Молодость и вечное счастье. Только в молодости бывает вечное, ежеминутное, непроходящее ощущение счастья. Утром ли, вечером – круглые сутки. Теперь все другое. Да и он другой. Такие дела.

Наконец он увидел ее, вернее, узнал. Растерянно оглядываясь по сторонам, она искала кого-то. Да не кого-то, его. Он замер. Хотел выкрикнуть ее имя, но слова застряли в горле. Откашлялся и все-таки тонким, петушиным голосом крикнул:

– Катя!

Получилось смешно и довольно противно. Она обернулась, сдвинула тонкие брови. Их взгляды встретились, и она, чуть запнувшись, словно раздумывая, сделала неловкий шаг навстречу.

– Катя, – повторил он.

Расстояние между ними было ничтожным, всего-то в два метра, не больше. Два метра и – пропасть. Глубокая, куда больше, чем каньон Колка, на котором ему однажды посчастливилось побывать.

Свиридов подошел и остановился, вглядываясь в ее лицо.

– Ну здравствуй, девочка. – Он попытался ее обнять.

Катя чуть напряглась, покачнулась и отстранилась – чуть-чуть, но все же заметно. Напряглась ее тонкая спина, откинулась голова на высокой красивой шее, а руки бессильно повисли вдоль тела. Он отодвинулся, чтобы получше ее разглядеть. Она страшно смутилась, нахмурилась и опустила глаза.

Катя, Катюша, Катенька. Катенок. Его единственная дочь.

Была она худой, довольно высокой и складной. Бледное, без косметики лицо. Красивые крупные губы, чуть тронутые невидимым блеском. Большие серовато-зеленые глаза, тонкие светлые брови и вздернутый, с редкими конопушками нос. Волосы, гладко зачесанные, волосок к волоску, были затянуты в стандартный «балетный» пучок. Черное пальто-карандаш, сапоги без каблука, красный шарф и красные же перчатки.

Он все разглядел и моментально оценил – взгляд художника. Что поделаешь, все детали и мелочи видны сразу. «Хорошо, – подумал он. – Хорошо и со вкусом, с понятием, надо сказать. Все про себя знает и все понимает, про все свои достоинства и недостатки. Умница». Свои черты – высокие скулы, большой лоб и форму рта – он углядел сразу. От матери, его бывшей жены, дочери достались глаза крыжовенного цвета и бледная, тонкая полупрозрачная кожа. «Но мать куда проще, – с гордостью подумал он. – Наша порода. И моего тоже хватает. А как же! Папаша». Вот тут, на этом месте, следовало бы с сарказмом усмехнуться. «Папаша!» Да какой он папаша, ей-богу? Дочь оставил в нежном возрасте – Кате было четыре года, – и воспитал ее другой человек. Хороший, надо сказать, человек. Очень хороший, поклон ему и респект! Впрочем, кланяться некому. Витя Козлов, по кличке Рыжий, уже в могиле, увы. Да, приятель и последователь, наследовавший двух его женщин. Витя ушел совсем молодым, в сорок семь. Уходил мучительно долго. Бедный, бедный Витя! А

Свиридов все равно бы слинял. Он был одержим этой идеей. И страшно почти не было – молодость. Но с Витей было спокойнее.

Он внимательно разглядывал свою дочь, и, кажется, она ему нравилась. Нет, точно нравилась, без всяких там «но». Катя смутилась под его пристальным взглядом, побледнела и отвела глаза.

– Ну, Катечка, что будем делать? Какие у нас, так сказать, варианты? Давай сначала пройдемся, а уж потом присядем! Идет?

Катя кивнула.

– Да, Кать, а давай на «ты», а?

Катя нахмурилась, пару секунд размышляла, но все же кивнула.

Пошли через Крымский мост, к Парку культуры. Шли молча, он искоса поглядывал на нее, она замечала и хмурилась. Походка у нее была балетная, носками врозь, спина прямая, голова чуть откинута назад. Вроде неяркая, а красавица. Или ему так кажется? Да, от Валентины много – и профиль, и редкие веснушки, и волосы. Только та явно крупнее и тяжелее, и это было всегда, с самой молодости. В его бывшей жене не было дочкиного изящества.

Молча дошли до парка, зашли внутрь.

– Ну вот, – улыбнулся Свиридов. – Свидание с молодостью. Нет, даже с юностью. Сюда мы бегали часто, раз в неделю уж точно! Летом аттракционы, если, конечно, была копейка, а уж зимой – зимой был каток! Тут заливали отличный каток. – Он посмотрел на дочь. – Знаешь об этом?

– И сейчас заливают, – отозвалась Катя.

– Катаешься? – Свиридов обрадовался диалогу.

– Нет, нам нельзя, это опасно. Вдруг травма?

– Ну да, это резонно.

Помолчали.

– И летом тут была красота! – оживился он. – Густые кусты сирени, тенистые закоулки, лесные тропинки. Я этот парк знал наизусть. Было где спрятаться и нацеловаться! Ну и на лодочках, на озерце! Знаешь, как романтично? А какое было мороженое! – Он улыбнулся. – Какое эскимо, какие стаканчики!

Катя кивнула на передвижной киоск:

– Да и сейчас этого навалом. Вон, посмотрите!

– О, – обрадовался он, – может, попробуем?

Дочь равнодушно пожала плечом.

С виду стаканчики с крем-брюле были точь-в-точь как прежде: та же вафелька, тот же теплый кремовый цвет.

Погода благоприятствовала, отодвинулись тучи, и выглянуло солнце, клены шелестели золотистыми листьями, кусты багровели, а трава, ровный и четкий газон, оставалась зеленой.

– Красота, а? – Сев на лавочку, он блаженно прикрыл глаза. – Все как в той жизни.

Мороженое оказалось так себе, ни в какое сравнение. И он почему-то расстроился.

– Не то, совершенно не то. Подделка.

Катя равнодушно молчала.

– Или дело не в мороженом, а в нас самих? – продолжал он. – В детстве ведь и клубника слаще, и трава зеленее? Впрочем, трава здесь вполне зеленая. Но все равно красота, правда, Кать?

– Мне легче, – усмехнулась она. – Не с чем сравнивать.

– А ведь ты права! Сравнивать всегда глупо, потому что часто сравнение не в нашу пользу. Верно, Катюш?

Катя молча пожала плечами.

* * *

Еще тогда, в самом конце восьмидесятых, Свиридов все решил.

Почему, думал он, почему им все можно, а остальным нет? Им можно вкусно жрать, сладко спать, носить красивые вещи, жить в просторных квартирах, расслабляться в закрытых санаториях, а не ютиться в приморских шанхаях? Иметь собственные закрытые пляжи? Почему им можно летать за границу, тратить валюту, лечиться в закрытых больницах и поликлиниках? Почему им и их семьям полагаются машины и личные водители? Государственные дачи с прислугой, повара и садовники? Спецстоловые, продуктовые заказы необъятных размеров и невиданного ассортимента, распределители и прочее, прочее? Чем заслужили они, эта элита, номенклатура, аппаратчики? Что они делают для страны, для народа, все эти старые, шамкающие маразматики, отчаянные фигляры и лгуны? Разве им известно, что такое очереди, в которых простой народ проводит большую часть жизни? Что они знаю об обшарпанных бо?льничных палатах с неистребимыми запахами мочи, хлорки и тухлой капусты? Разве они сталкивались с отвратительным хамством, вечным унижением на любом уровне, на любом – от поликлиники до железнодорожных касс, от кабинета начальника ЖЭКа до рабочей столовой, где нахамить может даже уборщица? А простые граждане терпят это везде и всю жизнь, от детского сада до кладбища, где из скорбящей родни нагло вытягивают последние крохи.

Всюду взятки и блат. Лучшее знакомство – директор гастронома или обувного отдела, таким знакомством гордятся, как и дружбой с официантом, швейцаром и автослесарем.

Подмазать, задобрить, подмаслить, дать в лапу, сунуть в зубы, сунуть барашка в бумажке – всем и подряд: гаишнику, врачу, медсестре, администратору гостиницы, метрдотелю, театральному кассиру и кассиру в авиакассе. По-че-му

все так уродливо, мерзко устроено, почему такая унизительная, несправедливая система?

Свиридов делился своими размышлениями с женой, Валей, та злилась:

– Ты не видишь ничего положительного! Оглянись!

– Вижу, – усмехался он. – Но отрицательное перекрывает все положительное. Тошнит от этого лицемерия.

– Антисоветчик! – шипела Валя. – Ты же враг в своем доме! Ты просто не умеешь договориться, поладить. Тебе проще фыркнуть, чем признаться в собственной несостоятельности. А те, кто умеет, имеют все.

Когда в программе «Международная панорама» рассказывали про «загнивающий капитализм» Свиридов жадно вглядывался в телеэкран, где мелькали небоскребы, зеркальные дороги, неоновые рекламы и блестящие, словно игрушечные, машины.

– Да, красиво! – злилась жена. – Но мы тут при чем? Или просто завидуешь?

– Завидую. А ты нет? Неужели тебе не хочется там побывать?

– Хочется, не хочется! Какая разница, если это недоступно? Может, мне и на Марс слетать хочется, и что теперь? Не спать по ночам и завидовать космонавтам?

И они снова ругались.

– А может, все проще? – усмехалась она. – Нет денег, и вся проблема лишь в этом? Может, стоит рвануть на заработки? Куда-нибудь на прииски или на большую стройку? Говорят, там за несколько лет можно сколотить такие бабки – сразу же купить кооператив и машину. Съедем от стариков, заживем самостоятельно. Поедем путешествовать – Сочи, Крым, Грузия, Прибалтика! Красота, а? Нет, ты скажи! Да, в чем-то я с тобой согласна, живем мы скучно. Скучно и однообразно. Ничего феерического. А ты ни разу не задавался вопросом – а почему? А потому, что тебе лень, Свиридов! Мне – нет, а тебе лень.

Это же ты ничего не хочешь! Ты, а не я. А жить надо, Свиридов! Просто жить и не морочить голову ни себе, ни другим. Вот я уверена – если бы ты зарабатывал, если бы получалось с выставками, ты бы забыл про свою заграницу.

– Дура! – Он моментально взрывался и принимался орать.

Жена делала большие глаза и прикрывала ладонью ему рот:

– Тише, разбудишь наших! Не дай бог, услышат.

Свиридов продолжал свистящим шепотом:

– При чем тут деньги? Ну были бы они, эти деньги, и что? Купили бы квартиру? Ага, такую же клетку. Или дурацкую, вечно ломающуюся отечественную машину. Ну, съездили бы в твой Крым! Сняли бы комнату – ни удобств, ни хрена! И что? И что дальше, Валя? Да все! Дальше ничего, ты мне поверь! Дальше – тишина! И выставки эти… Да черт с ними! Ну не хочу я писать сталеваров и комбайнеров! Не хочу, не желаю! Хоть это ты способна понять?

В этом была доля правды – стахановцев он не писал. Зато писал хорошие, крепкие портреты, неплохие пейзажи, приличные натюрморты. Но и их не брали. На то имелись причины – подмазать он не умел, подхалимничать тоже. Членом Союза художников не был, влиятельных друзей не держал. Там тоже была своя кухня – выпивоны с решателями, баньки, подарки. А эти извилистые, кривоватые пути были не для него – еще чего! И не потому, что он знал себе цену, а потому, что противно.

– Да, – жарко шептала Валентина, склонившись над ним. – А ты бы попробовал и понял, что я права.

Он слышал ее горячее дыхание, ощущал теплоту знакомого тела и вяло думал: «Наверное, самое правильное сейчас ее обнять и прижать к себе. А нет, неохота. Ну и тогда – зачем?»

И он отворачивался к стене и глухо буркал:

– Валя, отстань! Надоело.

– И мне надоело, – шипела жена. – Не можешь, как все люди! Ты даже у дочери в саду ни разу не был, ни на утреннике, ни вообще! Ты хоть знаешь, где ее сад?

Все правильно, не был. Не радовался дочкиным успехам, не ходил на утренники в детский сад, не слушал осточертевшую еще в его детстве «То березку, то рябину».

Видел ли он то положительное, о котором говорила Валентина? Да видел. Но злость и ненависть застилали глаза. Да, он видел и тех, кто умеет! Насмотрелся. Ему довелось побывать в компании золотой молодежи. Он помнил, к примеру, Колю Поташкина, красавца, студента МГИМО, внука не самого крупного функционера. Все там было, у этих Поташкиных: большущая квартира у метро «Кунцевская» в мощном кирпичном доме, с консьержкой в подъезде. В квартире румынская мебель, финский холодильник, до потолка, забитый такими продуктами, которых большинство советских граждан не видели. А еще японский магнитофон, и фээргэшный, в полкомнаты, телевизор, и ванная в розовой плитке. И домработница, и госдача в Барвихе.

Ах, как поучал его умник Коля, картинно закуривая «Мальборо» и прихлебывая настоящий солодовый шотландский виски.

– Да, старичок, – притворно вздыхал Поташкин, – согласен, у нас не самая удобная страна. Но и здесь, – легкая, пренебрежительная усмешка, – можно жить и иметь кусок хлеба с маслом и красной икрой! А если есть мозги, то и с черной. Вот ты, Женя, к примеру, зачем пошел в Строгановку и обрек себя на вечную нищету? А, призвание… Ну да, понимаю, бывает!

Все переглядывались и усмехались, посмеиваясь над случайно затесавшимся в их ряды идиотом. Кстати, в начале двухтысячных Свиридов случайно встретил Колю в Нью-Йорке. Все у него было тип-топ: и новенькая «БМВ», и дом на Лонг-Айленде, и собственный бизнес, и красавица жена, и умница дочь, студентка Колумбийского универа. Коля был в полном порядке. «Коли» всегда в полном порядке, и «Колям» все нипочем.

Но помнил Свиридов и другую историю, которая произошла чуть позже, после студенчества. Ну как история – не история, доверительный разговор с женой дипломата. Ритка эта, хорошая баба, шептала ему в ухо:

– А знаешь, почему мы рвемся туда? А, не знаешь! Я тебе объясню!

Ритка тогда хорошо набралась. Она вообще была по этому делу, но говорила, что только в отпуске алкоголем снимает накопившийся стресс. А там, за кордоном, капли в рот не берет, все сразу станет известно – и в двадцать четыре часа «здравствуй, родина!». Стучат все как миленькие!

– Так вот, – шептала Ритка, – там много такого говна, что не дай бог! Все знают, что у тебя сегодня в кастрюле! Так душно, что хочется выть! Но как только ты выходишь за ворота и попадаешь в ту жизнь, все начинает иметь смысл, понимаешь? Улицы, дома, магазины, кабаки. Люди! Все улыбаются, Свиридов! Ты только врубись – все улыбаются! И мне наплевать, искренне это или не очень, потому что там мне никто не скажет «Сука, куда ты прешь!» и никто не ткнет локтем, ты понял? Ну и потом – что-то привезешь. Какие-то шмотки сдашь в комиссионку, какие-то оставишь. И у тебя валюта, чеки в «Березку» и машина, и кооператив, где все свои, мидовские, никаких «дядей Вась». И идешь по Москве королевой, все оборачиваются. И пахнешь не «Каменным цветком», а Францией. И чувствуешь себя человеком. Женщиной чувствуешь. Вроде и рвешься домой, а через полгода хочешь назад, в нормальную жизнь. Понимаешь?

Свиридов понимал.

А однажды испытал шок. Ритка затащила его в продуктовую «Березку», перед входом предупредив:

– Свирид, только держись! В обморок не грохнись!

И вправду чуть не грохнулся, пожалел, что пообещал.

Это было какое-то наваждение, мираж, космос. На полках лежала еда. Разноцветные коробки шоколада и шоколадных конфет, банки с невиданными консервами: «Осетр в томате» и «Язык в желе», – разнокалиберная колбаса, толстая и тонкая, вареная языковая и сухая, копченая. Сыры, с плесенью и без, сосиски, икра, красная и черная, паюсная и зернистая, белужья. Манго и янтарные груши – и это среди зимы, – лежали свежие огурцы и ярко-красные помидоры. Стояли бутылки с иностранным алкоголем. Море сигарет – «Мальборо», «Винстон», «Салем».

– Для кого это все? – сиплым шепотом пробормотал он.

– Для иностранцев, – усмехнулась Ритка. – Ну и для контингента. – И, явно жалея его, добавила: – Ну теперь ты все понял?

Он понял. Рядом, на той же улице, в двух шагах, в обычном магазине «Продукты», давились за «бумажной» колбасой такие же люди, как его мать.

Мысль о побеге из этого ужаса не давала покоя. Но совесть все же скребла, мучила, ворошилась. Как же Валя, Катька. Тесть с тещей. Мама… Да, тесть с тещей. Первое время они его обожали. Нет, просто Свиридову решение уехать из Союза не далось – какое! Кстати, легко ему ничего не давалось! Да, мучился, размышлял. С Валентиной уже были проблемы – слушать его пламенные речи про несвободу, кошмарное, залитое кровью прошлое, ГУЛАГи и шарашки, про всю эту советскую убогую жизнь, она не хотела. Твердила без конца:

– Мы всегда жили сложно и избалованными не были. Родина – это не только красивое слово. Это еще и судьба!

Судьба… Всю жизнь бояться – это судьба? Всю жизнь хотеть и не получать? Мечтать и отчетливо понимать, что все эти мечты – тьфу. И никогда – никогда – им не суждено сбыться? Толкаться в вечных очередях, задыхаться в автобусах, слышать хамство – это судьба? И так – всю жизнь? Единственную и неповторимую? Всегда знать, что никогда не увидишь Париж, не пройдешься ранним туманным парижским утром не торопясь по Монмартру, не присядешь в кафе на бульваре, чтобы медленно выпить привычную чашечку кофе? Какая судьба, мать их? И что было самым смешным – он знал, что все эти сволочи, все эти гады и маразматики, все они и их дети, и их, так сказать, приближенные, все это имеют! Им что, положено? А всем остальным – нет?

Свиридов вспоминал бабу Катю, мать его матери. Баба Катя была из рабочей семьи – ее отец Иван Алексеевич, прадед Свиридова, простой деревенский мужик, в начале двадцатого века приехавший из деревни, был квалифицированным рабочим на заводе, настоящим мастером. И что? Да ничего. Работал один, преспокойненько обеспечивая большую семью – четверых детей и жену. Да еще помогал деревенской родне, и своей, и жениной. Маленький Свиридов любил слушать бабкины рассказы о прошлом житье-бытье. Ныл: «Баб, расскажи!» И баба Катя рассказывала – про дом в пять комнат на Преображенке,

про погреб, полный запасов, птичник, цветник и огромный фруктовый сад. Про столы, ежедневные и праздничные, про поездки в деревню к родне, про речку и лес, про детские забавы и игры. Про воскресные походы в храм Святителя Николая на Преображенке, про высокие пышные пасхи и сдобные пироги с черемухой, про приезды деревенских родственников, про свадьбы и похороны.

А потом все исчезло – как не было. Прадед умер. Нет, не все сразу исчезло – после внезапной кончины Ивана Алексеевича хозяин завода осиротевшую семью не оставил, положил хорошую пенсию. А вскоре случилась революция. И все рухнуло. Враз, – как говорила баба Катя. Было, и нет.

Хозяин фабрики, слава богу, успел сбежать и тем самым спасти семью. Фабрику разорили. Есть было нечего, и семья бабы Кати подалась в деревню к родне.

– А там… – Баба Катя горестно вздыхала. – Первое время держались, а потом стало хуже, чем в городе.

Ее мать, прабабку Свиридова, похоронили на деревенском погосте, та тоже ушла молодой, лет сорока, сильно тоскуя по любимому мужу. Две сестры остались в деревне, а юная Катя с братом Сенькой вернулись в Москву. Дом их был занят и разорен, скитались по углам, было время, и побирались. Приютил их знакомый отца, фабричный человек дядя Прохор Желейкин. Поселил в сарай, в квартире места не было, своих семеро по лавкам.

Катя помогала по хозяйству тете Варе, жене дяди Прохора, Сенька слонялся по городу в поисках работы. А потом пропал. Два года его не было, да и где искать в то смутное время? Катя продолжала жить у Желейкиных. По ночам не спала, плакала. «Все глазоньки выплакала», – как говорила она. Ни во что хорошее не верила, думала только о том, чтобы повеситься или утопиться. А спустя два года на улице случайно встретила Сеньку. Не сразу его узнала – долго смотрела вслед, а потом бросилась догонять.

Сенька, важный, как деревенский гусак, в кожанке и блестящих сапогах, в черном картузе с красным околышем, служил новой власти.

– Как же так? – охая, приговаривала ошарашенная Катя. – Ты теперь у них?

– У них, – подтвердил Сенька. – И дело наше правое. – Он харкнул на землю, растер плевок сапогом и усмехнулся. – Я-то у них, – с насмешкой повторил он, – а ты, Катька, дура!

Катя обиду проглотила, не до того. Осторожно спросила:

– А что за мной не пришел?

– Да некогда было, дела у нас важные, тебе не понять.

Катя поняла, что больше им говорить не о чем, и стала было прощаться, но Сенька схватил ее за руку и потащил за собой.

Брат устроил ее в общежитие и выдал талоны в столовую. Общежитие было хорошее, светлое и просторное, бывшие меблированные комнаты, из тех, что сдавали внаем. С Катей жили три девушки, шумные, отчаянные, веселые, не чета ей, грустной, напуганной.

В столовой Катя немножко отъелась и еще поняла: брат – человек не последний, с ним считаются, уважают.

Позже Сенька устроил ее на работу, ученицей машинистки. Через три месяца Катя ловко и быстро печатала на ремингтоне.

Жизнь, казалось, налаживалась. Но покоя по-прежнему не было. Во-первых, она все думала, как там в деревне, скучала по сестрам. А во-вторых… Не нравились Кате все эти люди. Не нравились. Хмурые, с красными от вечного недосыпа глазами, с нарочито громкими голосами, с суровыми лицами. Говорили они рублеными, малопонятными фразами и все время к чему-то призывали.

Катя не высовывалась, сидела за своим ремингтоном и помалкивала. Сенькиных соратников она откровенно боялась.

Через год она вышла замуж. Муж Федор был товарищем братца Семена и, разумеется, пламенным коммунистом. Любила ли его Катя? Да так и не поняла. Но с мужем было спокойнее. У нее появилась защита.

После скромной свадьбы с винегретом, селедкой и вареной картошкой молодые переехали в семейную комнату, крошечную, в семь метров, но свою, отдельную. Нет, счастье, конечно. Но Катя часто вспоминала родительский дом, их с братом и сестрами детские комнаты, белые крахмальные занавески в кружевах, простую, но милую посуду, комодик с девичьими вещицами, и грустила. В новой жизни презирали уют.

– Это мещанство! – орал Сенька. – Выбрось ты все это на хрен! – Он кивал на бархатную, вышитую еще мамочкой подушечку, Катин талисман, который уцелел с переездами и прочими неприятностями.

– Это же мамино! – вспыхивала Катя и начинала рыдать. – Как же ты можешь?

– Мамино, папино! – не унимался брат. – Выкинь на хрен! И всех делов.

Муж Федор тоже был за аскетизм. В их семейной комнатке стояла одна кровать. Подоконник Катя застелила куском отбеленной марли, ею и прикрывала посуду – две алюминиевые миски, две кружки, две ложки и нож. Вилок у них не было. На другом краю подоконника расположились небольшое полукруглое зеркальце, расческа, щетки и зубной порошок.

Как Катя ни старалась, никакого уюта не получалось. Казарма, а не семейная комната!

Она отрезала кусок простыни, налила в таз воду, капнула в нее чернил, и к вечеру на окошке висели голубоватые занавески. Сбегала в палисадник, нарвала веток вербы, воткнула их в бутылку от вина и поставила на стол. Вот теперь красота, любовалась Катя. Теперь дом!

Вернувшийся со службы муж перемен не заметил. Ну и ладно, а то, не дай бог, заругался бы и объявил мещанкой. А что плохого в мещанстве? Например, в занавесках? Или в абажуре над столом? И почему есть вилками тоже мещанство? Так было всегда, и зачем эти люди, включая ее братца Сеньку и мужа Федьку, со всем эти борются?

Потом повезло – с помойки притащила тумбочку, табуретку и стул, муж вбил в стену пару гвоздей, вот и шкаф для одежды. Впрочем, какая там одежда – смешно.

Через год Катя родила сына Ванечку. Ванечку она потеряет с сорок четвертом. Похоронка на сына придет в самом конце войны. Брат Сенька погибнет в июле сорок третьего на Курской дуге. Странное дело, по брату Катя не плакала. Помолилась за упокой, да и забыла. А мужа Катя потеряет еще раньше, в тридцать седьмом, в самом начале репрессий. В сорок первом, уже вдовой, она уедет из столицы в эвакуацию и попадет на Урал, в Пермскую область, поселок Верещагино. Там и сойдется с хорошим человеком, Исаем Ильичом, сапожником, инвалидом и старым холостяком. В загс они не пойдут – ни к чему, взрослые люди.

Катя работала нянечкой в поселковой больнице, а потом окончила курсы медсестер. Теперь у нее была настоящая профессия, и она очень этим гордилась. В сорок третьем, когда открыли Москву, Катя стала звать Ильича с собой.

– Давай распишемся и уедем, – уговаривала его Катя. – Восстановлю комнату, устроишься на работу, я пойду медсестрой в больницу.

Оставаться в провинции она не хотела. Но Исай Ильич уезжать не хотел, боялся столицы, боялся большого, шумного города. А Катя начала собираться. Ждала разрешения. А когда дождалась, поняла, что беременна.

Что делать? Открыться сожителю? Да Исай будет счастлив, станет носить ее на руках! Но это означало и то, что ей и ребенку придется остаться здесь, в Верещагино. И Катя все скрыла. Попрощалась с Исаем, собрала чемодан и попросила ее не провожать – побоялась, что не выдержит, признается.

Совесть мучила страшно, хорошим он был человеком, этот Исай, прекрасно к ней относился. Любила ли она его? Да снова не понимала. Да и что такое любовь? Этого Катя так и не знала.

Вернулась в Москву, с огромным трудом выбила комнату, заселилась, устроилась на работу в больницу. Оплакивала сына, молилась по ночам. Ждала дочку. Ничего не знала о сестрах. Вечером ложилась на кровать и плакала.

Родила девочку – счастье! Понемногу стала приходить в себя, оттаивать сердцем. Дочку она обожала, буквально тряслась на ней.

Когда дочь подросла, отдала ее в ясли, работала, кое-как жила. На мужчин не смотрела, не до того. Да и зачем – у нее была дочка, она понимала, что не одна: дочь есть дочь, и они всегда будут рядом. Думала написать Исаю, признаться – а вдруг? Вдруг приедет? Вдвоем им будет легче, будет семья.

Через четыре года собралась с духом и написала в Верещагино. Ответ пришел спустя пару месяцев. Писала племянница, новость была ужасной – Исай Ильич тяжело заболел, ухаживать за ним было некому. Катя поехала в Верещагино. Полуживого, почти не ходячего, Катя привезла Исая Ильича в Москву. Положила к себе в больницу, где ему сделали операцию. Ухаживала за ним, выносила горшки, кормила с ложечки.

– Значит, любила? – допытывался внук. – Иначе зачем?

– Любила, не любила… Не знаю! – отвечала баба Катя. – А вот жалела точно. И бросить не могла – живой ведь человек, да и отец моей дочки!

Спустя много лет Свиридов почему-то это вспомнил: «Любила, не любила, а вот жалела точно». Подумал, в России именно так. Любовь – жалость. Жалость – любовь. Нигде этого нет. А может, это и правильно? В смысле, жалость – любовь?

Дочку, маленькую Люсечку, Исай Ильич обожал и занимался с ней, как мог, – научил читать, считать, оставался с ней по вечерам и по ночам, когда у Кати были ночные дежурства. А работала она много – как выжить втроем, да на одну зарплату? Кто там за кем ухаживал, непонятно: дочка за тяжело больным отцом или отец за маленькой девочкой. «Битый небитого везет», – говорила Катя.

Но как-то жили, выживали. Тогда, в тяжелые послевоенные времена, все выживали.

– А, – махала рукой бабка. – А когда они были легкими? На своем веку не припомню.

Исай Ильич прожил долго, почти восемь лет, даже врачи удивлялись: «Это все вы, Катерина Ивановна. Если бы не ваш уход…» Похоронив его, Катя снова осталась одна. Старела, дряхлела, уставала, но надо было поднимать дочь. Слава богу, Люсечка была благополучной – поступила в институт, вышла замуж,

родила любимого внука, которого Катя и растила.

В конце шестидесятых поехали в Катину деревню в надежде отыскать остатки родни. Маленький Женя помнил эту поездку, свое первое путешествие. В деревне из родни никого не осталось. Никого. Всех унесла война. Война и голод. И даже могил не было. «Негде поплакать», – вздыхала баба Катя. Перед смертью она ослепла, и Свиридов, тогда еще подросток, водил ее за руки в ванную и на кухню. Мать много работала, отец давно жил в другой семье. А баба Катя еще трепыхалась, пыталась чем-то помочь. Кстати, о зяте, свиридовском отце, баба Катя отзывалась с недоброй усмешкой, все про него понимала. Когда мать жаловалась на мужа, она радостно подхватывалась: «Зять любит взять, у этих зятей много затей, нет черта в доме – прими зятя». Мама злилась и цыкала на бабушку, а Свиридов ничего не понимал, кроме одного – баба Катя отца не любит. Он прибегал из школы, кормил ее, водил в туалет. Жили они с бабой Катей в одной комнате, в проходной, в «зале» – вытянутой комнате в шестнадцать метров. А родительская, мамина, запроходная, была еще меньше, девять метров. Жили они в обычной пятиэтажке, и все равно это тогда было счастьем – своя, отдельная! И это после барака на Плющихе, безо всяких удобств, с водой на колонке, с холодным дощатым сортиром! Да, пятиэтажка казалась им раем.

Свиридов часто думал про жизнь бабы Кати. Какая там жизнь – сплошная мука. И никаких, никаких человеческих радостей, даже самых обычных, простецких! Сплошные беды, сплошные несчастья.

Когда он рассказывал это жене Валентине, та упрямо повторяла:

– Такая судьба! Господи, да разве у нее у одной? Да вся страна так жила. Вся, понимаешь? Ткни пальцем – и попадешь.

Свиридов начинал возмущаться, меряя шагами их крошечную восьмиметровую комнату.

– Да как ты так можешь? Ты образованный человек, учитель! Да ты страус, прячущий голову в кучу песка, потому что тебе так спокойней! И ни про меня, ни про дочь ты не думаешь! Надо уезжать, надо дать себе шанс! Себе и своему ребенку!

Валя начинала плакать и умолять, чтобы он не кричал – за тонкой стенкой спали ее родители, Петр Петрович и Анна Ивановна. Прекрасные люди, терпеливые трудяги. Они и вправду были замечательными людьми – скромными, неприхотливыми и всем довольными. У них все было как надо и как правильно. Теща, тихая Анна Ивановна, по болезни ушла на раннюю пенсию, заработав тяжелую астму на прядильном производстве. С тех пор вела хозяйство и политикой не интересовалась, забот ей и так хватало. А вот тесть, Петр Петрович, был метростроевцем, убежденным коммунистом, возглавлял бригаду коммунистического труда. «Правду» читал от корки до корки. Когда что-то не нравилось, нервно покрякивал, но власть не хаял и не обсуждал.

Когда они с Валентиной собирались после свадьбы снимать комнату, родители запротестовали: к чему тратить деньги? И Валентина их поддержала.

– Там будет легче и проще, – уверяла она. – Все готово, все подадут и уберут, а мы с тобой молодые, будем радоваться свободе!

В принципе все так и было. Только… нет, не нравилось ему быть приживалом. Но молчал – а что тут скажешь? На съемную комнату денег не было, если из зарплаты, то останется на хлеб и на воду. Как-то приноровился, было действительно очень удобно, полная свобода, и все-таки он часто думал: «Разве это семья?»

Приняли тесть с тещей его хорошо, а вот что было у них на сердце? Вряд ли они радовались Валентининому выбору: какой-то невнятный художник, без жилья и денег, да еще и с диссидентскими замашками! А эти его дружки, эти бородатые и пьющие дядьки в растянутых свитерах и нечищеных ботинках? Все, как один, поборники Запада, слушают радио «Свобода» и поносят на чем свет советскую власть. А сколько у красавицы Вальки было парней, нормальных, работящих, понятных. Был один инженер, Вася Сокол. Какой парень и как бегал за Валей! Но старики молчали, отдали дочери с мужем комнату – живите! Кормили и поили. Денег Свиридов зарабатывал мало и редко – участь художника.

Теща подавала, убирала, стирала и гладила. Молодые и правда жили беззаботно и весело, редкие деньги тратили легко, не задумываясь об общем бюджете. У спекулянтов покупали тряпки и обувь, часто ходили в кафе. За пять дней спускали зарплаты. Родители молчали. Конечно, тесть зарабатывал прилично, рублей под триста. А уж если с премиями! Они не нуждались, но совесть-то надо было иметь.

Когда родилась Катя, теща взяла ее к себе в комнату, чтобы «дети» поспали. Чудесная женщина, необыкновенная. И строгий тесть во внучке не чаял души.

Был у них дачный участок – тесть получил на работе. Радовался, как дитя. Поехали смотреть. Пейзаж глаз не радовал – огромное поле с огрызками пеньков. По краям поля жидкий, на просвет, лесок. С правого края мутный, тухлый пруд. Участки помечены колышками – шесть соток на рыло. Мечта, да и только. Тесть, причмокивая от восторга, ходил по вязкой и топкой, тощей землице, мысленно размечая жалкие сотки:

– Здесь грядки с огурчиками, да, мать? А здесь, вдоль забора, кусты: смородина, крыжовник, черноплодка, а? Потом винцо из черноплодки будет. Красота!

Теща радостно кивала, Валентина усмехалась, а Свиридов, нерадивый зятек, сидел на пеньке и с безучастным взором смолил сигарету. Тоскливее ничего и придумать нельзя. Ну в самом деле! Хорошо, освоят, так сказать, эту топь. Осушат, подвезут немерено песка и чернозема, поставят свои избушки на курьих ножках, засадят грядки с чахлым укропом. Дальше-то что? А будут счастливы, вот что! Станут стоять день за днем кверху задом, удобрять все это вонючим навозом, радоваться кривому и горькому огурчику, кислому, мелкому яблочку и водянистой клубничке так, будто нашли ценный клад. По вечерам станут ходить к соседу забивать козла и пить чай с твердыми пряниками. Усталые, с обгоревшими, красными лицами, ноющей спиной и мозолями на руках, терпящие любые неудобства, в том числе отсутствие туалета и нормального душа, они все равно будут уверены, что им повезло.

А может, это не так? Может, он и вправду их не понимает и никогда не поймет? Может, они действительно счастливы: построили, одолели этот домишко, победили неукротимый борщевик, вырастили жалкие неприхотливые нарциссы и чахлый укроп, сварили две банки клубничного джема (из собственной ягоды). Счастливы тем, что это – свое! И дети вот рядом, и внуки. И все дело в этом потаенном, глубоко запрятанном желании своего, которое когда-то отняли у их предков, крестьян: своей земли, собственного надела. Да, у тестя и тещи были своя твердая и уверенная правда, свое счастье и свои радости, и Свиридов даже был готов их понять. Но его правда и его счастье выглядели совсем по-другому. Однако понимать его никто не торопился, включая родную жену.

Дом, домишко, а по свиридовскому мнению, так просто сарай, трудолюбивый и упорный до некуда тесть поставил всего за одно лето. Впрочем, а что там ставить – три комнатухи, терраска в десять метров. Но на подмогу приехала чуть ли не вся обширная родня из Калуги: какой-то сват, брат, деверь или кум. В общем, взялись дружно, и к августу дом был готов. Участок разровняли, грядки насыпали, насажали прутики всякой садовой чепухи в надежде на обильные урожаи. Господи, когда все это вырастет? Жизни не хватит.

Все лето бедная теща возила на участок бидоны с борщами и ведра с котлетами.

Свиридов, понятно, участия в этом не принимал.

Валентина по-доброму посмеивалась над родителями: «Будет игрушка на старости лет. Да и дочка на воздухе, чем плохо? А мы с тобой, милый, одни в квартире! Все лето одни! Хоть ходи голышом! Зови друзей, врубай музыку! Танцуй танго!»

Перспектива заманчивая, да. Только и она Свиридова не устраивала. Жизнь, нарисованная женой, расписанная по пунктам, была ему неинтересна.

А тесть все хлопотал – чинил старенький «москвичонок», торчал в гараже, мотался на дачу, привязав к самодельному багажнику найденную шершавую доску или подобранную на помойке картонную дверь. Строил, доделывал, переделывал, был воодушевлен и отчаянно счастлив. Даже завидки брали – как у человека все просто и ясно.

Вот тогда Свиридов окончательно решил, что нужно уезжать. Да и разлад с женой набирал обороты. Ругались они отчаянно, и было это смешно, потому что кричали шепотом, чтобы не услышали старики. К слову, старикам этим было тогда меньше, чем ему сейчас.

Ехать с ним Валентина отказалась – не только из-за любви к родине и несовпадения взглядов. Она искренне считала, что живут они замечательно – квартира есть, пусть с родителями, но и в этом можно найти удобства: Катька под присмотром, они свободны, всегда есть горячий обед и ужин. Мать не докучает, ничем не попрекает и всегда встречает с улыбкой. Отец, хоть строг и сдержан, но человек добрый и свою семью обожает. Недовольство зятя ему неприятно, но он понимает, что люди они совершенно разные, и все

«высказывания» Свиридова, не комментируя, терпит молча, по носу его не щелкает и куском хлеба не попрекает.

– Ты просто зажрался! – возмущалась жена. – Чего тебе не хватает? Денег в дом мы не даем, да с нас и не просят. Можно скопить на машину, можно поехать на море, к тетке в Севастополь. А все остальное – от безделья!

«От безделья». Свиридов страшно обижался на эти слова. А ведь по сути Валя была права – он точно не перетруждался. Халтурил по мастерским, на подхвате. А для записи в трудовой преподавал в Доме пионеров рисование и скульптуру, в которой мало что смыслил. Какая зарплата у преподавателя художественного кружка? Сказать стыдно.

– На воле мозги и поворачиваются, – ворчала жена. – Отстоял бы день у станка или отсидел за баранкой – и не до былого и дум!

Их прежняя нежность, взаимное притяжение и пылкая страсть испарялись постепенно, но верно. К Катькиному двухлетию они уже усиленно «делали вид».

Это был юбилей тестя, да, точно, пятидесятилетие. Гостей было море – родня, приятели, друзья, сослуживцы. Приехала и севастопольская тетка Лидия, родная сестра юбиляра, персона важная, куда там – директор санатория! Перед этой надменной начальницей в цветастом платье и с соломенной башней на голове все лебезили. Всем хотелось отдохнуть в санатории на Черном море. Всем, кроме Свиридова.

Несмотря на конец августа, стояла невыносимая жара. Холодец плавился и растекался на блюде янтарной лужей, хоть ложкой хлебай. Есть никому не хотелось, все быстро напились, развезло. Мужики – тесть, кум тещи, шурин и два крепких парня из бригады тестя – курили на тесном балконе. Женщины хлопотали на кухне, откуда слышались жалобные стенания тещи по поводу горы оставшейся еды. Мужики сурово затягивались.

– Валя! Утку-то греть? – беспокоилась теща.

– Какую утку! – раздраженно отвечала Валентина. – Кто ее будет?

На балконе за перекуром пошел мужской разговор. Метростроевцы гордились успехами и радовались хорошему и скорому плану и будущей премии. Свиридов, хорошо подшофе, саркастически кривил рот и откровенно усмехался.

– Не нравятся тебе наши разговоры? – вдруг спросил тесть, и в его голосе прозвучала угроза.

– Какая разница, нравятся или нет? У вас свои темы, – нахмурился Свиридов.

– А у тебя? – не успокаивался Петрович. – У тебя другие?

– Другие. – Он затушил бычок в консервной банке и вышел с балкона, задев плечом Лешку, высоченного хлопца, любимца тестя. Тот дернулся и ухватил Свиридова за рукав. Он обернулся и увидел Лешкины глаза, в которых плескались злоба и ненависть. Свиридов дернул руку, хрустнула ткань.

– Оставь его, – обреченно пробурчал тесть. – Сколько волка ни корми…

Свиридов вылетел на лестничную площадку. Быстро сбежав по ступенькам, выскочил во двор. Двор, зеленый и раскаленный даже вечером, жил своей жизнью – на лавочках сидели старушки, в песочнице ковырялась малышня, мамочки трясли коляски с младенцами, а мужики отчаянно стучали костяшками домино по отполированному временем дощатому серому столу. «Ненавижу, – пронеслось у него в голове. – Как же я все это ненавижу!»

Он выбежал на улицу, поймал такси и рванул за город. Лицо горело, он открыл окно. Слабый теплый ветерок немного успокаивал.

Мчались по Калужскому шоссе. Остановив водителя на обочине, Свиридов купил у него же бутылку отвратительно теплой «Столичной», расплатился и, покачиваясь, с трудом выбрался из машины, шагнул в уже прохладный, вечерний лес, прошел пару шагов и плюхнулся на теплую сухую траву. Оторвал зубами алюминиевую пробку-«бескозырку», выпил одним глотком полбутылки и, закрыв глаза, прислонился головой к стволу березы. Ствол был шелковистым и почти гладким. «Береза, белая подруга», – просипел он и почему-то заплакал.

Пели птицы, и слышался монотонный гул недалекого шоссе. На душе было муторно. В эти минуты он окончательно понял – так жить нельзя. Нельзя жить в ненависти. Нельзя жить примаком в этой семье, нельзя пользоваться добротой этих, по сути, чудесных людей. Нельзя бесконечно, как змеи, шипеть в своей комнате, ругаясь с женой. Нельзя спать с нежеланной женщиной. Нельзя. Аморально. Как аморально жить в стране, которую ты не принимаешь.

Он допил то, что осталось, и быстро уснул. Проснулся, когда было совсем темно. Добрел до шоссе и на попутке доехал до Подольска, до мамы. Та уже спала и, открыв дверь, испугалась. Поняла, что сынок здорово набрался, наорала и погнала в душ, а потом накормила холодным щавелевым супом и уложила спать. Проснувшись, он увидел на кухонном столе миску с сырниками и короткую записку: «Баранкин, будь человеком!» и постскриптум: «Пожалуйста!» Был в те времена такой мультик, и это была их с мамой присказка.

Мать уже ушла на работу – уходила она всегда рано, к половине восьмого, – аптека, где она работала, открывалась в восемь. Свиридов сжевал пару сырников, выпил крепкого кофе – кофе всегда в доме имелся, в любые, самые дефицитные времена, мать была заядлой кофеманкой, – прошелся по квартире, посмотрел альбом с фотографиями: мать, отец и маленький он. Не заметил, как по щеке покатилась слеза. И вдруг ему стало всех так отчаянно жаль, всех, без исключения: маму, Валентину, маленькую, несмышленую Катьку. И тещу, и даже тестя, которого он ненавидел еще вчера. Но больше всех – себя самого, беспомощного, раздавленного, нищего и бесприютного.

Тридцать лет! Ему уже тридцатник! А он кусок дерьма – ни денег, ни имени, и уже ни семьи. Ничего. Только недовольство и брюзжанье. Он даже не диссидент – потому что трус. Он не выходит с протестом, не пишет воззваний, не устраивает голодовок. Он просто ненавидит несвободу и хочет свободы.

Кто он? Обычная рядовая никчемность? Неудачник, пытающийся свалить все на власть и социальный строй? Или просто свободный человек? Да что он, особенный? Такой же, как все! Не гений уж точно. Ну да, есть талант, как говорят. Талант есть, а ничего не получается. На выставки работы не берут, заказов не предлагают. Вот он и бесится. А если бы все получилось? Нет, все равно нет. Деньги, успех тут ни при чем. Здесь, в этой стране, ему душно. Невыносимо душно. И невозможно принять, что твоей жизнью, твоими желаниями и планами распоряжаются другие.

Свиридов вышел на балкон, покурил и снова вернулся в комнату. Взял семейную фотографию – мама, отец и он, четырехлетний. Мама – прекрасная, светлая, с легкими волосами, в шелковом платье и белых босоножках. Отец в легких брюках и тенниске. Лицо серьезное, а глаза шальные. И он, карапуз, в матросском костюме, крепко вцепился в мамину руку. Надпись – Анапа, 1968 год.

Счастливая семья.

А через год отец ушел. Как выяснилось позже, женщина у него была давно, уже года четыре. То есть пока мама сидела с маленьким сыном, вскакивала к нему по ночам, отец бегал налево.

Вышло все смешно. По телевизору передавали праздничный концерт. К ноябрьским, что ли? Концерт транслировали из Колонного зала. Периодически поднимая к экрану глаза и подпевая, кажется, Кристалинской, мама гладила пододеяльник. И вдруг увидела знакомое лицо – законного муженька рядом с красивой дамой с высокой прической. Отец нежно держал даму за руку. Самое смешное, что показывали их довольно долго, несколько раз. Мать застыла, держа утюг на весу. Камера снова наехала на папашу и даму. И снова счастливые улыбки, распахнутые глаза. А между тем отец объявил, что уезжает в командировку. Мама аккуратно отставила утюг, медленно вынула шнур из розетки, отнесла белье и тщательно разложила его по полкам в шкафу. Потом достала с антресолей чемодан и так же аккуратно стала складывать в него стопочкой отцовские вещи – брюки к брюкам, рубашки к рубашкам, майки к майкам, трусы к трусам. Мать была страшно педантичной. Потом закрыла чемодан и выставила его в коридор. Отец приехал на следующий день. Увидев чемодан, понял все сразу. Заглянул на кухню, где Свиридов с матерью и бабой Катей ужинали (он хорошо помнил, что это были пюре и котлеты), внимательно посмотрел на домочадцев, взял чемодан и вышел прочь.

Услышав, как хлопнула дверь, мать вскочила и подлетела к окну. Прислонившись с холодному стеклу, она горько заплакала. Наверняка она ожидала другого – покаяния, просьбы простить, шутливых отговорок, вранья во благо. Но отец ушел молча, без извинения и покаяния. Мать тогда окаменела и почти перестала разговаривать. Но на Свиридове это не отразилось – уход отца он не переживал по причине возраста и отцовского равнодушия к нему, человеком тот был прохладным и эгоистичным. А вот мать Свиридов обожал и нуждался, по сути, в ней одной. Ну и в бабе Кате, конечно.

Лет в тринадцать он впервые спросил про отца. Мать вздрогнула и побледнела. Он понял, что для нее этот вопрос не закрыт. Правда, потом она объяснила, что отец давно женат, да, да, на той самой даме с прической. У них растет дочь, и живут они где-то в Беляево – где точно, она не знает, но, если ему это нужно, она может узнать.

Свиридов смутился:

– Вот еще глупости! На черта он мне?

Но все же через три года он нашел отца, вдруг почувствовав в этом острую необходимость. Нашел через родственницу, отцовскую тетку, всю жизнь дружившую с матерью. Мать про это ничего не знала. Отец действительно жил в Беляево, в сером, мрачном панельном доме, одном из тех, что стоят в ряд, одинаковые и безликие. Дверь открыла девочка-подросток с тонкими светлыми волосами, убранными в конский хвост. Отец вышел в прихожую, отодвинул девочку и протянул ему руку. Девочка хмыкнула, скорчила рожицу и ушла в комнату.

Они прошли на кухню. Отец налил чаю и достал из буфета конфеты. Смущены были оба, но все же отец пытался наладить разговор. Вошла девочка, презрительно оглядела Свиридова, снова хмыкнула и стала готовить себе бутерброд. Вкусно запахло разрезанной холодной котлетой и соленым огурцом. Он сглотнул слюну и отвел глаза. Еды ему не предложили. Отец вяло рассказывал про работу, показывал фотографии каких-то непонятных приборов, и было видно, что встречей он тяготился.

Почувствовав это, Свиридов сказал, что ему пора. В прихожей снимала плащ женщина, жена отца и мать его единокровной белобрысой сестры. Женщина внимательно посмотрела на него, протянула руку в крупных блестящих кольцах, представилась Ольгой Сергеевной и предложила остаться на ужин. Он отказался и, бросив короткое «спасибо», с облегчением выскочил за дверь. Больше отца он не видел. От матери знал, что отец долго болел, несколько лет лежал парализованный, и Ольга Сергеевна ухаживала за ним терпеливо, не жалуясь. За года два до смерти отца мать и Ольга Сергеевна стали общаться. Инициатором была эта Ольга, вторая жена любвеобильного папаши. Она звонила матери и рассказывала про их горести. Мать, будучи человеком интеллигентным и мягким, терпеливо выслушивала ее и, будучи опытным провизором, давала советы и доставала лекарства.

Свиридов злился и кричал:

– Зачем тебе это нужно? Зачем тратить время и силы на этих людей, разрушивших твое счастье?

Мать отмахивалась и говорила, что ей не трудно:

– Не трудно выслушать и помочь, чем могу. Не чужой же человек. Он твой отец. – И отводила глаза.

А Свиридов продолжал возмущаться.

Он понимал, что отец сломал матери жизнь.

Были у нее попытки найти свое женское счастье. Как-то она сошлась со странным мужичком по имени Влас. Имя было дурацкое, а мужичок разведенный, свободный. В этом была его главная ценность. Ну и хозяйственный – компоты крутил, сало солил, бегал по магазинам в поисках съестного. А вечером накрывал на стол – скатерть, салфеточки, приборы. Делал красиво, со вкусом и с любовью. «Пропал в тебе, Влас, официант», – шутил Свиридов. Служил он бухгалтером в какой-то невзрачной конторе. К маме относился с трепетом и уважением: «Люсьенка! Какая же ты у меня умница и красавица!»

От этой «Люсьенки» Свиридова мутило. Но молчал, ни слова – маме хорошо, и ладно! А он все равно отрезанный ломоть.

Увы, «лакей», как называл его Свиридов, стал пить, и из дома стали пропадать ценные вещи. Мама долго об этом молчала. Да и какие там ценности – два золотых колечка и бабы-Катины золотые сережки с зеленым камушком. Мама утверждала, что это изумруды, но Свиридов проверил у ювелира – ничего подобного, изумрудами там и не пахло. Какие-то хризолиты или хризопразы, словом, ерунда полная. Ерунда не ерунда, а жалко безумно, память о бабке. В общем, выгнала мать официанта, и дело с концом. Как потом говорила – вздохнула с облегчением. Так ее личная жизнь и не задалась. Свиридов на похороны отца идти не хотел, сопротивлялся как мог, но мать уговаривала долго и слезно, и он наконец уступил.

Прощались в морге Боткинской больницы. Народу было много, но ни Свиридов, ни мать никого не знали, кроме Ольги Сергеевны. Та была очень элегантна, в черном узком платье и черной шляпке с вуалью. Свою сестру, дочь отца, он не сразу узнал – тощая, голенастая и белобрысая девчонка превратилась в стройную, красивую девушку с короткой стрижкой под Мирей Матье. Таня, так ее звали, сама подошла к нему и слегка приобняла. Он растерялся и неловко погладил ее по тонкой спине. Краем глаза он увидел, что мать и Ольга Сергеевна переглянулись.

У могилы Ольга Сергеевна и мать обнялись. Свиридов отвернулся.

На поминки мать не пошла, а его пойти упросила. Поминки были пышными, богатыми. В ресторане накрыли столы с изобилием нескромных для такого случая яств.

Говорились восторженные речи в адрес Ольги Сергеевны. Про отца упоминали как-то вскользь, мимолетно. Свиридов понял, что главной была именно жена отца, которую он всю жизнь ненавидел и считал виновницей всех несчастий.

Она взяла слово. Говорила неторопливо и красиво, мужа поминала только добрым словом, поминутно вставляя, как была счастлива с ним и как за все ему благодарна. Свиридов увидел, как Таня при этих словах хмыкнула и скривила гримасу. Значит, не все прекрасно было в королевстве, не все. Давал прикурить папаша и там, в той семье. И Ольга Сергеевна несла все на своих хрупких плечах, так получалось?

В какой-то момент Свиридов даже почувствовал симпатию к этой женщине – красивой, сильной и, видимо, совсем не плохой. Таня подсела к нему и предложила выпить за память отца, не чокаясь. Уже основательно пьяная, поплывшая лицом, она хватала его за руки и горячо шептала, что нужно общаться, «мы ведь родные!». Глядя на эту молодую, красивую и растерянную женщину, дышавшую на него алкогольными парами, он вспоминал белобрысую девочку с тонким хвостиком, разрезающую пополам жирную, сочную, остро пахнувшую котлету. Свиридов понял, что красавица Таня отчаянно одинока и очень несчастлива. Или ему показалось?

С поминок ушел, не попрощавшись. А телефон Тани потом потерял. Да и бог с ним! Ничего не испытывал он к этим людям – ни зла, ни обиды и ни желания как-

нибудь свидеться.

* * *

Отоспавшись, Свиридов домой не поехал, дождался с работы мать, рассказал про раздрай в душе и конфликты с женой. Ну и про свои планы, конечно. Мать охала, плакала.

Особенно теплых отношений у нее с Валентиной не было никогда. После свадьбы Свиридов предложил Валентине переехать в Подольск. Какое! Та сразу отказалась – жить со свекровью? Ни за что! Да еще и Подольск, тмутаракань, а как на работу?

К маме ездили раз-два в месяц, по воскресеньям. Валентина словно делала одолжение: «Мы же собирались в кино!» Он обижался, они снова ссорились. Потом, конечно, она ехала, но настроение было испорчено, всю дорогу молчали.

Мама все чувствовала, понимала и страшно переживала. Он знал, Валентина ей не нравилась, но она ни разу не сказала про невестку дурного слова.

Вот и сейчас она переживала не только за сына, но и за его жену и, конечно, за Катю. Как они одни, без него:

– Уехать? Господи, да кому ты там нужен, Женя? И как все будет, и что? А как Валя и Катенька? Как их оставить? Как? Ну про себя я не говорю, – всхлипывала она, – при чем тут я. Но как тебе не страшно менять свою жизнь? Да и куда, Женя?

– Не знаю, – отвечал он, – куда-нибудь. По большому счету мне все равно. Туда, где свобода.

Он отвечал, что менять жизнь не страшно – страшно все оставить как есть, не воспользоваться шансом, не попробовать, не рискнуть. Если не изменить жизнь, то тогда он точно пропадет – сопьется или…

Мать вскрикнула и зажала рот рукой.

Неделю он прожил в Подольске. А через неделю за ним приехала Валя и увезла его домой, в квартиру своих родителей.

Ночью, после бурных и продолжительных, давно позабытых в вечных баталиях и противоречиях ласк, они лежали в кровати и курили – пепельница стояла у него на груди. Как прежде, в добрые стародавние времена, голова Валентины покоилась у него на груди.

– Разве у нас все так плохо? – хрипло спросила жена.

Свиридов промолчал. Она обиделась, резко встала, накинула халат и вышла из комнаты. Спустя какое-то время он пошел за ней. Валентина курила на кухне.

– Разве у нас все так плохо? – повторила она.

Ему хотелось крикнуть, выкрикнуть: «Да конечно же плохо! И нечего притворяться! И нечего пытаться воскресить то, что было. Это, Валя, не восстанавливается. Это – конец». Не сказал, трус. Трус и подлец. А ведь уже тогда все решил. Самая большая подлость – оставлять человеку надежду.

Но кроме той ночи, ничего хорошего больше не было, как он ни старался. Хотя, если честно, старался он так себе, вполноги, как говорила баба Катя. А Валентина старалась – сделала новую стрижку, сбросила пару килограммов, и ей это очень шло, надела глубокое декольте, что тоже ей шло – грудь у нее была пышной, высокой. Перед сном жена тщательно прибиралась – брызгала духами, распушала волосы, никаких бигуди, никакого жирного крема, от которого его подташнивало. Она старалась! А он… Он загудел. Шлялся по мастерским, выпивал, приходил поздно и сразу заваливался в кровать. И Валентина не выдержала – еще бы, при ее вспыльчивом и гордом характере сносить такие унижения.

– Уходи, Свиридов. Сам видишь, не получается.

Было тошно. Ах, как было тошно! Но в один далеко не прекрасный день он собрал свои вещи и ушел.

Неделю кантовался у дружков-приятелей, много пил, и ему казалось, что выхода нет. Деньги закончились, так что кормился там же, в мастерских у друзей. Иногда перепадала халтура, мелкая, незначительная и унизительная.

Одну из них подкинул Стас, верный друг. Позвал на оформление выставки в Сокольниках. Работа на неделю, скорее ремесленная, чем творческая, но и то хлеб! Там же, в Сокольниках, сняли двух девок, беспечных, заводных и веселых студенток иняза, ну и загудели по полной. Половину гонорара отложил дочке, а половину пропил. Денег он не заметил. С походом к жене тянул, было стыдно да и вообще неохота: начнутся разговоры, попреки, скандал. Все надоело до некуда. И, конечно, влез в Катькины деньги. Кроме жгучего стыда, не испытывал ничего. Сволочь, Валентина права, безответственная сволочь, подонок. Ясное дело, дочка с голоду не пропадет. Есть дед и бабка, есть работающая мать. Но он же отец! Должна быть какая-то ответственность за ребенка? Ответственности не было. Но по дочке он тосковал. Собрался с духом и поехал в Шатуру.

В электричке увидел себя в зеркале и ужаснулся – ну чистый алкаш! Отекшая, небритая морда, отросшие волосы, помятая рубашка. И в таком вот виде к ребенку? Хотел выскочить из электрички, но удержался – осталось только здесь проявить малодушие.

Пока ждал автобуса, оглядывался – красота! А воздух! Нет, молодцы старики! Катька все лето на природе, дышит кислородом и ест с огорода.

Так расчувствовался, что купил теще цветы – хилый букетик, две астрочки, три ромашки, сиреневый колокольчик. Что еще продают бабульки на станциях? И только в автобусе, старом и невозможно тряском, сообразил – на черта теще букетик, когда у нее такой цветник? А вот дочке… Дочке он ничего не купил. Еще одно подтверждение – сволочь. Господи, стыд-то какой! Но поворачивать было поздно, автобусик фыркнул, качнулся, остановился, и радостный, оживившийся народ вывалился на улицу.

Не без труда Свиридов нашел нужное садовое товарищество с громким именем «Сказка». Да уж, сказка! Смешно. Но надо сказать, поселок отстроился и даже выправился – домики, пусть и хилые, бедные, одинаковые, стояли, как солдаты-новобранцы, стройными и почти ровными рядами. Заборы сверкали новой краской, сады поднялись и шелестели листвой, а уж цветники и клумбы были отменными! На каждом участке копошился народ: что-то пилили, стругали,

копали и поливали. «Мышиная возня, – подумал Свиридов с презрением. – И так ведь всю жизнь!» Как же он эту жизнь презирал!

Дом отыскал и, как вор, встал за деревом у забора. Сердце колотилось, словно бешеное.

Катька возилась в песочнице. Солнце падало на дочкины рыжеватые волосы, бликовало, золотило их, и у него защемило сердце. «Маленькая моя девочка! Как же тебе не повезло! Какой же тебе достался папаша».

С терраски доносились мерные постукивания ножа – теща готовила обед. Вскоре донеслись и запахи. Ему показалось, что запахло жареным мясом. Он сглотнул слюну – когда в последний раз он нормально обедал? Пельмени и сосиски из стоячки не в счет.

Теща высунулась в окно:

– Катюшка, мыть руки и обедать!

Тут она увидела его, своего нерадивого и, кажется, бывшего зятя. «Зять – ни дать, ни взять» – так говорила баба Катя про его отца. Все повторилось. Разница была в одном – он, Евгений Свиридов, к другой бабе не уходил. Он просто ушел. В никуда. Но это его ничуть не извиняло.

– Женя? – удивилась теща. – И что стоишь? Заходи. Мы не кусаемся.

Он смущенно улыбнулся и нащупал крючок на калитке.

Теща стояла на крыльце, вытирая о фартук влажные руки – полная, разрумяненная, с гладким, добрым и немного растерянным лицом.

«А ведь они мне родные, – с тоской подумал Свиридов. – И эта добрейшая Анна Ивановна, и хмурый, вечно насупленный дед».

– Ну вот, я приехал, – пробормотал он, протягивая теще дурацкий букетик.

– Заходи! Гостем будешь, – повторила она приглашение и перевела взгляд на внучку: – Ну что ты застряла? Папа приехал!

«Папа» – вздрогнул он. Спасибо, Анна Ивановна!

Катька вскинула на него зеленые очи. Он улыбнулся и протянул к дочке руки. Ища поддержки и одобрения, Катя взглянула на бабушку. Та еле заметно кивнула, подбодрила. Дочка медленно поднялась с корточек, не спеша отряхнула ладошки и вразвалочку подошла к нему.

– Привет! – улыбнулся он. – Ну как ты, Катюша?

Та опять посмотрела на бабушку.

– Хорошо, – тихо сказала она. – А ты к нам надолго?

Он, не зная, что ответить, растерянно пробормотал:

– Как получится…

– Идите в дом! – крикнула теща. – Обедать!

В доме было чисто и нарядно. Уютно. Пусть по-мещански, по-дачному: коврик с оленями на стене, кружевные, накрахмаленные, колышущиеся на ветру шторки, рыжий абажур над столом, дешевые, из штампованного хрусталя, вазочки с плетеными салфеточками под ними, слоники в ряд, аккуратно выставленные на комоде, – Валентина все-таки добилась выселения слоников из городской квартиры. Пахло борщом и котлетами, чем-то печеным, ванильным, сладким. Пахло флоксами, стоящими в зеленой вазе. Пахло домом, жильем. Пахло семьей.

Смущаясь, Свиридов присел на краешек стула. Теща, расставляя тарелки и раскладывая приборы, украдкой разглядывала его. Он разговаривал с дочкой.

Катька, оттаяв и поборов смущение, отвечала подробно и бойко. Отчет был вполне обстоятельным:

– Ходим с дедом по грибы, но грибов мало, одни мухоморы. Зато земляники полно! – И глаза у нее загорались. – Да, ба?

Теща кивала, соглашаясь.

– Дружу с Галей и Татой, это две сестры, соседки. Галя хорошая, а Тата вредная. Мы иногда с ней не дружим, – бодро продолжала девочка. – Печем с бабой пирожки, да, ба? Лично я люблю с клубникой, ее у нас завались. А дед любит с капустой. А баба со всем подряд. Да, ба?

Теща улыбалась:

– Да, да, болтушка!

Катька притащила рисунки, слепленные кривоватые фигурки из пластилина, тетрадку с гербарием – «это мы с мамой».

Анна Ивановна тем временем наливала борщ – темно-малиновый, с белым распадающимся островком сметаны. Пах он невероятно. От нетерпения у Свиридова задрожали руки. Он сунул их под скатерку – не дай бог, теща увидит. Та, похоже, все поняла.

Ел он торопливо, обжигаясь и громко глотая. Вкусно было невероятно.

Потом подали котлеты, знаменитые тещины котлеты, пышные, здоровенные, пахнущие чесночком, источающие прозрачный, золотистый сок.

Катька болтала, теща делала ей замечания, дочка на секунду замолкала и снова продолжала болтать.

На третье был смородиновый кисель и вертушки – так теща называла сдобные, закрученные в спиральку и присыпанные сахаром булочки.

От сытости и спустившейся благости Свиридову немыслимо захотелось спать. Бухнуться бы сейчас на этот диванчик с жесткими валиками и уплыть, улететь и забыться.

После обеда Катька отправилась на дневной отдых.

– Спать не спит, но хоть полежит с книжкой. А то и уснет, – прокомментировала теща. – Хочешь чаю? – предложила она Свиридову.

Он отказался. Поинтересовался, где тесть. Оказалось, что дед уехал в городок за продуктами, а это, как водится, на целый день:

– То за этим постоишь, то за тем. Ну сам знаешь. Ездит он раз в неделю, по четвергам. В пятницу приедет Валя, что ей таскать тяжелое? И так устает на работе! Приезжает еле живая, язык не ворочается – дорога длинная, метро, электричка, автобус. В субботу полдня отсыпается, мы ее и не трогаем. А в воскресенье обратно тем же путем. Как у тебя, Женя? – без паузы спросила она.

– Да так, Анна Ивановна. Так себе. Не складывается у меня. И у нас с Валей не складывается.

– Знаю и вижу. Валя приезжает грустная, все больше молчит, уходит в лес и возвращается заплаканная. Что у вас не так, Женя? В чем причина? Ведь вы хорошо жили! И мы… мы с дедом старались. Чтобы свобода у вас была, поменьше хлопот. Чтобы… А, что об этом! – Расстроенная теща махнула рукой. – При чем тут мы с дедом? Верно?

– Вам только спасибо, Анна Ивановна, – горячо заверил он тещу. – Вы замечательные, лучше вас нет! Дело тут в нас, вернее, во мне. У меня как-то… ну по-дурацки, что ли… И с работой, и со всем остальным. И Валю я измучил, и себя. А вам только спасибо! – повторил он. – Я пойду, покурю?

Теща молча протянула ему пепельницу.

«Хорошо, что деда не оказалось дома, – подумал он, – с тещей проще, ее доброта безмерна». Он глянул на часы – почти четыре. Надо ехать, с тестем встречаться не хотелось.

Вернулся в дом, теща мыла посуду. Заглянул к дочке – Катька спала, раскинув тонкие, как веточки, руки, спала сладко и крепко, с полуоткрытым ртом, с разметавшимися по цветастой подушке золотистыми волосами. Из-под тонкой

простынки высунулась длинная, с пыльной пяткой нога.

– Поехал я, Анна Ивановна. Спасибо за обед – как всегда, потрясающе! А по-другому у вас не бывает! Спасибо большое!

В ее расстроенном взгляде читались сочувствие и даже жалость. К нему? Святой она человек. А может, ко всем ним? К Катьке, Валентине, к ним, к старикам? Да уж, не повезло им с зятьком, что говорить. Не такого зятя они заслужили. «Ни дать, ни взять». Чистая правда.

На автобусной остановке толпились возмущенные люди. Выяснилось, что следующий автобус прибудет только через два часа, большой перерыв из-за какой-то поломки. Свиридов не расстроился, а даже обрадовался, свернул в лес, лег под деревом, накрылся ветровкой и тут же уснул. Но перед сном промелькнуло: «Ну чистый бродяга. Ем по домам, сплю под кустом. Классная у тебя жизнь, Евгений Свиридов».

* * *

А через полгода ему повезло. Да не просто повезло – сказочно повезло, небывало!

Знакомые дружка Стаса собирались в командировку в Монголию. Требовалось на кого-то оставить квартиру, человек должен был быть приличный, хорошо знакомый и серьезный, по рекомендации. Сговорились, и через пару недель он переехал на Шаболовку. Квартира была старой, обшарпанной, захламленной и темноватой. Но зато отдельной! Да еще в самом центре!

Кое-как со Стасом прибрались, удивляясь неаккуратности хозяев.

– Что поделать, геологи, – ворчал Стас. – Привыкли в полях есть из банок алюминиевыми ложками! Ты ж видел, какие они – одержимые! Полгода просидят в палатках с котелками и спальниками, вернутся в город и тоскуют – когда обратно? Вот жизнь, а? Но им в кайф! Прям оживают, когда подходит срок! А в городе мучаются, страдают, привыкли к чистому воздуху, чистой воде.

Разобрали одну из трех комнат – ему хватит. Договорились, что Стас будет приводить в квартиру своих девиц, не зря же он хлопотал! Ну и ладно, Свиридову до этого какое дело, ему места хватит. Тогда же устроился на ВДНХ, оформителем в павильон «Космос и машиностроение». Работа была не бей лежачего – бригада состояла из трех человек: он, еще один «мазила» и бригадир. Полдня спали в подсобке, а остальное время квасили. Бегали за разливным пивом и за солеными сушками в павильон «Главпиво». Иногда перепадали и раки. Классное было время! Свобода и деньги, пусть ерундовые, но свои. Пустая квартира с окнами на храм Живоначальной Троицы, тишина.

Четверть зарплаты Свиридов отвозил Валентине. Она выходила на школьный двор и молча, без разговоров, брала конверт. Он замечал, что выглядит она плохо, очень осунулась и постарела, под глазами лежали черные тени, в волосах пробивалась первая седина. Да и настроение было паршивым, она и не пыталась это скрывать.

Однажды он спросил:

– Перекурим?

Она неожиданно согласилась.

Глянула на него и с усмешкой спросила:

– Ну что? Жизнью доволен? Пристроился? Угомонился?

– Доволен? Да нет, не думаю. А вот насчет «пристроился» и «угомонился» ты что имеешь в виду?

Валентина усмехнулась и ответила с вызовом:

– Бабу я имею в виду, Свиридов. Это насчет «пристроился». А насчет «угомонился» – так это я про твои безумные идеи, про твой отъезд! Все, успокоился?

Он покачал головой:

– Нет, не успокоился. Все равно уеду. Вот увидишь.

– Мне-то какое дело? Пусть новая баба печалится.

Он внимательно посмотрел на бывшую жену.

– Нет никакой новой бабы, Валя, поверь.

– Да наплевать, – покраснев, бросила она и загасила бычок каблуком. – Мне-то что? Давно чужие люди. Да, и кстати, Свиридов, я подаю на развод! Надеюсь, не возражаешь?

– Нет, – ответил он, пытаясь попасть окурком в урну. – Не возражаю. Что возражать?

Валентина вспыхнула и, не попрощавшись, ушла.

Расстроилась, надеялась на другое? Какая ему разница – точки поставлены. Только вот дочка… С Катей он виделся раз в месяц. Заезжал за ней в воскресенье утром, и они ехали в Подольск, к бабушке Люсе. Разговаривали не много – он не из болтунов, а Катька замкнулась. Держал ее за руку, и сжималось сердце. Тоненькая кисть, хрупкая ладошка. Девочка, девочка моя! И почему все так в этой паршивой, дурацкой и беспощадной жизни? Ну почему?

Или надо было терпеть? Терпеть и жить, как все люди? Да, собственно, что он терпел? Какие такие трудности? Глупости это, ничего он не терпел. Да, ему казалось, что он разлюбил Валентину. Скорее всего, так и было. В боях и сражениях, в постоянных скандалах и претензиях их любовь захирела, завяла, как цветок в сухом горшке. Ну и вывел свою формулу – спать с нелюбимой женщиной безнравственно! О как. Внушил себе, что он одинокий волк, гордый и независимый. Такие, как он, не созданы для семейной жизни. И, несмотря на замечательную пещеру на Шаболовке – а именно так он называл свое временное пристанище, несмотря на полнейшую, беспредельную и безоговорочную свободу, – счастливым себя он не ощущал.

Странное дело, но так было всегда, с самого детства – когда мечты сбывались, он тут же терял ко всему интерес. В семь лет мечтал о пожарной машине.

Буквально грезил ею. Ну баба Катя и скопила со своей скромной пенсии. Машина стоила безумных денег, но для любимого внука сделаешь и не то, и на Новый год она торжественно внесла в дом большущую картонную коробку. Свиридов разглядывал ее, огромную, лакированную, блестящую, и – не подходил. Потом пристроил ее на подоконник. Но никогда в нее не играл. Подойдет, посмотрит, проведет рукой по блестящему боку и отойдет.

Баба Катя решила, что он просто жалеет – слышал ведь, деньжищи бешеные. Уговаривала не жалеть, играть в удовольствие.

– Что деньги, – смеялась она. – Про деньги не думай!

Так и не уговорила.

«Урод, моральный урод, – твердил себе Свиридов. – Валентина права: не в стране дело и не во власти, не в окружающих и не в несвободе. Дело во мне и только во мне. И нечего искать виноватых – так будет всегда».

Развелись они через два месяца – тихо и мирно, как-то по-родственному. На улице покурили, неловко пошутили по поводу процедуры, напряженно посмеялись, и Свиридов вручил бывшей жене букет розовых тюльпанов.

– Будь счастлива, Валя! И спасибо за все.

Они приобнялись, так, слегка, тоже по-дружески, похлопывая друг друга по плечу, Валентина жалобно всхлипнула, махнула рукой и, чуть покачиваясь на высоких каблуках, медленно пошла к метро. Со стороны можно было подумать, что она сильно пьяна.

Ну вот и все. Как говорил Винни Пух, «до пятницы я совершенно свободен». Вот и Свиридов был совершенно свободен. На неопределенное, но, видимо, очень долгое время.

Женщины у него были, разумеется, были. Даже не женщины – девицы. Связи с нормальными женщинами предполагали непременно длительные истории, романтические, элегические, уж точно не на ночь или на две. Зрелым женщинам хотелось отношений. Хотелось любви и устройства жизни. А девицам было

достаточно малого – например, шашлыка в кафе, бутылки красного грузинского вина, жарко натопленного, пахнувшего бензином и дерматином такси с лихо подмигивающим нагловатым таксистом и как непременное, обязательное продолжение – жаркой безумной ночи. Да и Свридову этого было достаточно – именно то, что и надо.

Продолжались и пьянки-гулянки по мастерским. Именно там, в одной из них, в районе Полянки, он познакомился с Грегом.

Грег был типичным американцем, ярким представителем своего народа – высоким, ладным, крепким блондином с правильными, но невыразительными чертами лица. Хорошая стрижка, стильные очки, отличные зубы и открытая улыбка – ни дать ни взять американский сенатор.

Он коллекционировал современное искусство, держал галерею в районе Сохо. В сопровождении своего московского друга, известного искусствоведа, смешного, как Тарталья из «Принцессы Турандот», в кружевах и берете, с утра до ночи, без сна и отдыха, Грег рыскал по мастерским и искал таланты. Точнее, искал то, что можно было продать. Разумеется, вся нищая московская братия мечтала предстать пред их светлы очи! Еще бы.

Сперва казалось, всем рулил педерастичный искусствовед в кружевных манжетах. Его мнения побаивались, но Свиридов довольно быстро понял – босс и шеф здесь именно Грег, простоватый и с виду наивный. У искусствоведа были знания, а у Грега нюх. Ходили слухи, что платит он очень и очень щедро, но сколько – никто не говорил, все было покрыто дымкой таинственности.

В феврале они со Свиридовым познакомились, быстро разговорились. Причина была в одном – в языке. После окончания английской школы – спасибо маме – Свиридов прилично общался и даже писал и читал на английском. Так вот, разговорились и договорились увидеться на следующий день в пещере на Шаболовке. Грег прибыл без Кружевного, и то слава богу. Принес бутылку «Джек Дэниелс», которую тут же распили под готовые котлеты из ближайшей кулинарии. Свиридов удивился, как быстро Грег захмелел – надо же, здоровенный мужик, с виду крепкий лось, а повело его быстро. Пошатываясь и держась за стенку, Грег потребовал посмотреть свиридовские работы. Тот страшно смущался, оттягивал время и повторял, что пригласил его совсем не для этого, а из-за обыкновенной человеческой симпатии. Но американец настаивал, пришлось подчиниться.

Грег долго молчал, переносил работы под свет, раздвигал пыльные шторы, но на улице давно стояла глухая и непроглядная тьма. Без разговоров и обсуждений он отставил четыре картины, по мнению автора, далеко не самые лучшие, улыбнулся и предложил что-нибудь выпить.

Кроме полбутылки какого-то крепленого дерьма, невесть откуда затесавшегося у Свиридова, ничего не нашлось. Выпили молча. Грег по-простецки крякнул и полез в карман. Свиридов отвел глаза, стыдно было невероятно. Резко поднявшись со стула, он пошел мыть посуду, а галерист вернулся в комнату.

Наконец Грег позвал его. На столе Свиридов обнаружил кучку помятых зеленых бумажек.

– Пересчитай, – велел Грег. – Если мало – скажи!

Дрожащими руками Свиридов пересчитал деньги. Три тысячи долларов. Три тысячи. Три тысячи американских долларов.

– Все ок? – усмехнулся Грег.

Свиридов кивнул.

Потом он долго надевал на Грега дубленку – тот все никак не попадал в рукава. Кое-как справившись, выползли на улицу и стали ловить такси.

Такси, как всегда, не было. На свежем, крепком морозце полегчало, Свиридов продышался и все-таки остановил тачку. Протянул водиле полтинник с портретом восемнадцатого президента США, героя Гражданской войны Улисса Гранта и строго наказал доставить «по месту прописки»:

– Номер я запомнил, слышь, шеф?

Шеф хмуро кивнул.

С большим трудом засунув тяжеленного американца на заднее сиденье, он громко хлопнул дверью. Ну, кажется, все!

«Надо пройтись», – подумал он.

Возвращаться в прокуренную квартиру было неохота, да и спать совсем не хотелось, хоть на часах было полтретьего.

Через час Свиридов вернулся домой, посвежевший, абсолютно трезвый и несказанно бодрый.

Аккуратно сложил деньги в целлофановый пакет, перетянул аптечной резинкой и убрал в шкаф – завтра утром американец протрезвеет и потребует их назад.

Потом он пошел в комнату, долго рассматривал отложенные работы. Он ничего не понимал. Ничего.

Уснул часов в восемь утра, предварительно сжевав оставшуюся котлету, практически несъедобную, каменную, покрытую застывшим вонючим жиром.

Разбудил его звонок Грега. Тот долго извинялся и попросил привезти работы.

– Они вроде мои? – как бы в шутку поинтересовался он.

– Твои, – подтвердил Свиридов.

С того самого дня он понял, что надо делать. Оставался всего один вопрос – как?

Грег золотые горы не обещал, но убедил его, что жить в Америке он будет неплохо. Русских берут хорошо, на русское искусство большой спрос, словом, должен быть выход.

– Проще всего по израильской визе, ищи еврейскую родню – самый надежный способ, у тебя есть такая возможность?

Свиридов растерялся.

– Да нет, вроде нет, какая израильская виза, какая еврейская родня? Бред, да и только.

А ночью вдруг пробило: дед Исай! Да, конечно, Исай Ильич Берлин, чистокровный еврей!

С самого утра полетел в Подольск, отыскал мамины документы. Все правильно, отец – Исай Ильич Берлин. Только мама оставалась на фамилии бабы Кати, ведь родила бабка безо всякого мужа, муж появился потом, а фамилию менять не стали – зачем осложнять девочке жизнь?

Мама посмотрела на него с испугом и тут же все поняла.

– Уезжаешь, – прошептала она. – Может, и правильно. Здесь у тебя как-то все нескладно, не очень. А там – кто знает? Глядишь, повезет. – Она заплакала.

Свиридов подошел к ней, обнял, они заплакали вместе. Он рассказывал ей про Грега, про его галерею. Мама, кажется, не очень верила.

Потом он вспомнил про деньги, выбежал в коридор, отсчитал триста долларов, протянул ей. От удивления мама вскрикнула. Получается – правда.

* * *

Путь был долгим. Подключились какие-то люди, чьи-то знакомые, знакомые чьих-то знакомых, и через полгода ему пришел вызов от дальних родственников из Израиля, из города Беэр-Шева. Где этот город? Фамилия этих людей была Берлин. Конечно, это были совершенно другие Берлины, но какая разница. Теперь оставалось только подать документы.

С Грегом Свиридов был на связи. Работал как оглашенный – никогда он так не работал. Но оказалось, что зря – вывоз работ, даже своих, был ограничен, и почти все пришлось оставить в Подольске.

Разрешение на отъезд Валентина подписала. Но деньги потребовала – права. Отдал тысячу долларов, доставшуюся от Грега, и пару тысяч рублей дала мама. Собрала.

Выпустили его беспрепятственно. Да и кому он был нужен, нищий, безработный художник?

Самым тяжелым было прощание с мамой. В аэропорт ехать он ей запретил. Выскочил из дома и рыдал так, что люди шарахались. Клялся забрать ее, как только сможет, и ни минуты в этом не сомневался.

С дочкой Валентина проститься не дала, и он ее понял. Попросил Катины фотографии, Валентина принесла целый пакет.

Провожали его три человека – Стас, Витя Козлов по кличке Рыжий и Валентина. Расстались по-доброму, Валентина с интересом, словно впервые, разглядывала его.

– Ну, Свиридов, удачи! И чтобы там у тебя все сложилось! Ну и вообще, – она хлюпнула носом, – не пропадай. Да, буду звонить Людмиле Исаевне, это понятно. И все-таки не пропадай! Маме и папе передам, не волнуйся. Ну все, Свиридов! Вперед. – Валентина крепко обняла его и поцеловала, а потом отвернулась, чтобы он не увидел ее слез.

Но он увидел.

Кстати, вскоре Валя вышла замуж за Витю Козлова. Нет, ничего странного, жизнь есть жизнь. Но Свиридов все равно удивился.

А потом была Вена, и все удивлялись почти тюремным условиям – охраняли их с автоматами, как преступников. Вену увидеть не удалось, но Свиридов успокаивал себя тем, что вся жизнь впереди – и насмотрится, и нагуляется и по Вене, и по остальной Европе, и по прочим странам и континентам. Ведь это нормально, правда, – хотеть увидеть мир?

А дальше была Италия – сказка, мечта, мираж! Рим и фонтан Треви, Колизей и – батюшки мои – Ватикан, Большой цирк, Капитолийский холм, вилла Боргезе и Испанская лестница. Мог ли он себе такое когда-то представить? Представить-то мог, а вот сидеть на ступеньках этой лестницы и есть мороженое…

Ну и вообще настала райская жизнь – поселили их на побережье, в городке Остия. Море под боком, в пяти минутах ходьбы. Ну и всякое изобилие – черешня тазами, персики, абрикосы. Странные, невиданные ранее киви – ничего особенного, черешня куда интереснее.

А еще горячая пицца, пусть самая дешевая, с сыром и помидорами, но боже, как вкусно! Бродили по рынку, облизывались на «фрукты моря» – оказывается, так назывались морские гады, креветки различных размеров, мидии, лангустины, кальмары и устрицы. Вкуса их он не знал, пробовал лишь мидии, сваренные в котелке на костре, было это сто лет назад, в Коктебеле. Но вкус их Свиридов помнил всю жизнь. «Ничего, – сглатывая слюну, утешал он себя. – И это у нас впереди! Нажрусь еще и этого великолепия».

Он буквально балдел от нового прикида – копеечных джинсов с распродажи, черной майки с «битлами» и белых кроссовок, таких белоснежных, как сливочное мороженое, таких новых, что было страшно надевать. Ну и берег пару недель, доставал из коробки полюбоваться. Потом отругал себя: «Вот же совок! Сколько еще будет этих кроссовок и джинсов?» Конечно, надел.

В комнате, похожей на студенческую общагу, жили три человека – снимать на троих было дешевле. Кроме Свиридова, еще Миша Беленький, тоже москвич и бывший актер-неудачник, искрометный и чрезмерно болтливый, развлекающий остальных сплетнями из актерского мира. Он слегка утомлял, но в целом все было нормально. Третьим соседом оказался тихий парень из Омска, Додик, Давид Рабинович. Свиридов думал, что Додик учитель. Но все оказалось смешнее – Додик был известным фарцовщиком. Ни хрестоматийная интеллигентская внешность Додика, ни его тишайший нрав с опасным ремеслом никак не вязались. В Риме скромный Додик не оплошал, из недр своего хозяйства, как из пещеры Али-Бабы, вытаскивал то фотоаппарат, то тяжелые связки янтарных и коралловых бус и браслетов, то николаевские золотые пятирублевки. Но самое смешное – лучше всех шли металлические рубли с Ильичом.

Срубив «лаве», как Додик называл выручку, он приглашал соседей в ресторан. Именно там, в недорогой итальянской траттории, они впервые попробовали настоящий стейк, мягкость и сочность которого их потрясла до самых глубин. Пару раз сходили в кино на порнуху. А однажды попали и на стриптиз. Свиридову было смешно – художник привык к обнаженной натуре. Гораздо интереснее и смешнее было смотреть на рожи Додика и Мишки Беленького – вот где был настоящий цирк!

Возбужденный Мишка уговаривал друзей «найти девочек», упрашивал Свиридова обратиться к полицейскому на английском, чтобы тот дал адресок.

Свиридов отказался, на что Мишка сильно обиделся и не разговаривал с ним целых три дня.

Три месяца ждали вызова из Америки. Мишка от родной тетки из Техаса, «Тексиса», как он говорил. Додик от дальней родни из Лос-Анджелеса. А Свиридов от Грега. Созванивались они раз в две недели, и Грег убеждал, что очень, ну просто очень его ждет, потому что вместе они способны взорвать, перевернуть художественный мир, ни больше ни меньше.

И он, идиот, в это верил. Боже, какими мы были наивными…

Но закончились римские каникулы, лучшее время в его жизни, и, здорово накачавшись дешевым мартини, друзья распрощались. Конечно же, клялись друг другу в вечной верности и обещались писать и звонить. Они действительно не теряли связь долго, лет пять.

У Мишки все сложилось удачно, небедная тетушка взяла племянника в бизнес, а вскоре он женился, родил дочку и сына – словом, ему повезло.

А вот Додику не повезло. Тот ввязался в какую-то историю, как потом оказалось, замешанную на наркоте, был настоящий боевик с погонями и выстрелами, ну и зацепила пуля тихого Додика. Тюрьмы удалось избежать, потому что изменился маршрут – бедный Додик оказался на кладбище.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/mariya-metlickaya/ostorozhno-dveri-zakryvayutsya

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити